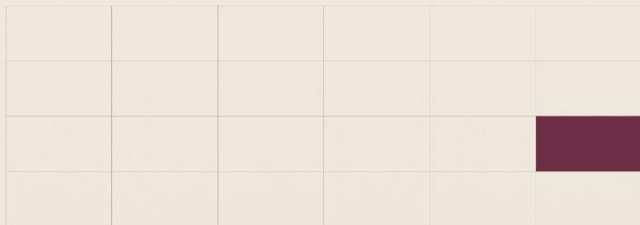




КНИГА ПЯТАЯ · РОМАН

НАСЛЕДСТВО

Дом — это не стены. Это расписание.



«Наследство — это не то, что тебе оставили. Это то, что ты продолжаешь».

из этой книги

пять книг — один год — один дом

Александр Жарков

Наследство

<https://litres.ru/74691749>

SelfPub; 2026

Аннотация

Гриша Мельник умеет разговаривать с мёртвыми: он распорядитель похорон, у него безупречный голос и ни одного незакрытого вопроса — кроме одного. Пятнадцать лет назад он поцеловал Асю за кулисами Дома культуры и ушёл. Теперь умер их учитель, Аркадий Борисович, и оставил пятерым друзьям странное наследство: здание с трещинами, самовар 1957 года и условие — сыграть «Трёх сестёр» до 30 декабря, иначе Дом заберёт город, а через две недели его снесут. Репетиции идут в холоде, свет отключают, застройщик предлагает деньги за отказ, а Ася говорит: «Ты прячешься за философией. Выйди». Наследство — это спектакль, который продолжают играть без тебя.

Содержание

Пролог. Третий звонок	4
1. Ночной звонок	9
2. Без галстука	17
3. Похороны	24
4. Завещание	31
5. Холод	40
6. Двадцать семь стульев	47
7. Читка	53
8. Смета	59
9. Выбери	66
Конец ознакомительного фрагмента.	67

Александр Жарков

Наследство

«Если бы знать, если бы знать!»

Антон Чехов. Три сестры

*«Наследство — это не то, что тебе оставили.
Это то, что ты продолжаешь».*

Из этой книги

Пролог. Третий звонок

Последнюю реплику Ольги я слышал из-за кулис.

— «Милые мои сёстры, жизнь наша ещё не кончена. Будем жить! Музыка играет так весело, так радостно, и, кажется, ещё немного, и мы узнаем, зачем мы живём, зачем страдаем... Если бы знать, если бы знать!»

Настя говорила в зал. Её голос дрожал не от волнения. Она держала спектакль три часа и устала держать.

Я стоял в кулисе с бутылкой воды. Через минуту мне нужно было выходить. Чебутыкин выходит в финале, говорит про будущее и уходит. У меня было двенадцать слов. Я знал их наизусть. Я вообще всё знал наизусть, кроме того, что

должен был сказать Асе.

Занавес пошёл. Зал встал. Не весь. Первые ряды. Потом середина. Потом балкон, которого у нас не было, но который всегда кажется.

Аркадий Борисович стоял в проходе с букетом. Он не аплодировал. Он смотрел на сцену так, как смотрят на дом, который построили и теперь проверяют, не течёт ли крыша.

Мы вышли на поклон. Марк держал Настю за руку. Лиза держала книгу. Тимур вышел из-за кулис с самоваром. Самовар был настоящий, тяжёлый, и Тимур нёс его так, будто это была главная роль.

Ася стояла в центре. На ней были крылья из марли. Она надела их в первом акте и не сняла до конца. Крылья были кривые. Она сказала, что так и надо.

После третьего поклона занавес закрылся. В зале ещё хлопали. Мы стояли за кулисами и молчали. Так молчат люди, которые только что вместе упали с высоты и остались живы.

— Всё, — сказал Марк. — Я забыл монолог.

— Ты не забыл, — сказала Настя. — Ты его переписал.

— Это одно и то же.

Лиза засмеялась. Тимур поставил самовар на пол и вытер руки о костюм.

— Он течёт, — сказал он.

— Кто?

— Самовар. Внизу.

— Это не самовар. Это ты.

— Я не теку. Я потею.

Ася сняла крылья. Одно крыло треснуло. Она посмотрела на него и сказала:

— Ладно.

Это было её слово для всего, что нельзя починить.

Я пошёл в гримёрку. Там пахло клеем, пудрой и мокрым снегом. На столе лежали чужие галстуки, шпильки, стакан с недопитым чаем. В зеркале отражался человек в костюме Чебутыкина. Человек был худой, в очках с треснувшим стеклом и с лицом, которое ещё не знало, что будет дальше.

Ася вошла следом. В руке она держала крылья.

— Ты видел? — спросила она.

— Что?

— Зал. Когда Тимур вынес самовар, зал засмеялся. А потом замолчал.

— Потому что самовар был настоящий.

— Потому что он был не по пьесе.

Она положила крылья на стул. В гримёрке было тесно. Наши руки почти касались. Я думал о том, что в тот вечер не думал ни о чём важном. Я думал о физике, о том, куда поступать, о том, заметят ли меня. Я не думал, что стою в двух шагах от человека, которого буду помнить всю жизнь.

Я поцеловал её.

Она не оттолкнула меня сразу. Сначала она замерла. Потом положила ладонь мне на грудь. Не сильно. Просто чтобы я остановился.

— Гриша, — сказала она.

— Что?

— У тебя губы в пыли.

— Это грим.

— Это пыль.

Она засмеялась. Потом перестала. Потом сказала:

— Не надо.

Я шагнул назад. В дверях стоял Аркадий Борисович. Он держал букет и смотрел на нас. На его лице не было ни гнева, ни удивления. Только усталость человека, который видел эту сцену много раз и знал, чем она заканчивается.

— Гриша, — сказал он. — Ты забыл, что Чебутыкин говорит про будущее?

— Нет.

— Скажи.

— «Через двести лет жизнь будет прекрасна».

— А сейчас?

— Сейчас?

— Сейчас — тоже.

Он положил букет на стол. Потом посмотрел на Асю. Потом на меня.

— Смерть — не репетиция, — сказал он. — Но и жизнь тоже. Не жди третьего звонка.

Он вышел. Ася смотрела на дверь. Я смотрел на неё.

— Что это значит? — спросил я.

— Что он всё видит.

— А ещё?

— А ещё, — сказала она, — что третий звонок уже был.

Она взяла крылья и вышла. Я остался в гримёрке. На столе лежал мой галстук. Я надел его. Потом снял. Потом надел снова.

Через пятнадцать лет я привёз в этот зал гроб.

1. Ночной звонок

Третьего ноября я хоронил женщину, которая всю жизнь собирала фарфоровых кошек.

Её звали Анна Павловна, ей было восемьдесят шесть, и она оставила инструкцию на четырёх страницах. В инструкции было написано: кошек не выбрасывать, раздать по одной, каждой — записка с именем. Детей у неё не было. Кошек было сорок две. Родственники сидели в приёмной и спорили, кому достанутся те, которые с бантиками.

Я сидел за столом и заполнял бумаги. В графе «особые пожелания» я написал: «сорок две кошки». В графе «вероисповедание» — «не указано».

В двадцать два сорок зазвонил телефон.

На экране было: «Тимур».

Мы созванивались раз в месяц. Обычно он говорил: «Гриша, ты как?» Я говорил: «Работаю». Он говорил: «Это не ответ». Я говорил: «Это работа». Потом он смеялся и вешал трубку.

В этот раз он сказал:

— Гриша. Он умер.

Я положил ручку.

— Когда?

— В двадцать десять. Лейла была рядом. Оксана приехала. Врач сказал — остановилось сердце.

— Понятно.

В трубке было тихо. Потом он сказал:

— Ты можешь приехать?

— Могу.

— Сейчас?

— Сейчас.

Я положил трубку. Посмотрел на бумаги. На кошек. Потом встал и снял с вешалки пальто.

На улице шёл снег. Первый снег в Москве в этом году. Он был мокрый и сразу таял на асфальте. Я сел в свою «Ладу», повернул ключ. Мотор завёлся с третьей попытки. Печка работала плохо. Я протёр окно рукавом и поехал.

Триста километров. Четыре часа, если не гнать. Я не гнал. Я ехал и думал о том, что за три месяца знакомства этот человек сказал мне больше правды, чем некоторые люди за всю жизнь.

«Ты был работник. Теперь ты человек».

Я не знал, что он имел в виду. Я до сих пор не знаю. Но я помнил, как он это сказал. Он лежал на подушке, маленький, с жёлтой кожей, и смотрел на меня ясными глазами. Такими ясными, какими они не были уже год.

На заправке я купил кофе и сигареты. Я бросил курить шесть лет назад. Я не собирался начинать. Я купил их, потому что в машине было холодно, а сигарета — это ещё один способ держать руки занятыми.

Я не закурил.

За окном были поля. Потом лес. Потом снова поля. Снег ложился на стерню и делал её похожей на седую щётку. На горизонте горели огни Ольши. Маленькие, жёлтые, как окна в доме, где ещё не спят.

Я въехал в город в три часа ночи. Улицы были пустые. На площади стоял баннер: «Ольша — город, в котором хочется остаться». Я посмотрел на него и подумал: а если не хочется? Кто-нибудь спросит?

Дом Тимура стоял на Железнодорожной. Пятиэтажка, четвёртый этаж, окна жёлтые. Я поднялся по лестнице. На площадке сидела соседка в халате и курила в форточку.

— К Ахметовым? — спросила она.

— Да.

— Рашид умер.

— Знаю.

— Хороший был человек. — Она затянулась. — Всех знал. Я ему говорила: «Рашид, ты почему всех знаешь?» Он говорил: «Я водитель. Я вижу людей».

Она махнула рукой на дверь:

— Там открыто.

В квартире пахло лекарствами, чаем и чем-то ещё — тем сладковатым запахом, который я узнаю сразу, где бы ни был. Так пахнет комната, из которой только что вышли.

Тимур сидел на кухне. Перед ним стояла чашка. Он не пил. Гульнара стояла у окна. Оксана собирала бумаги на столе. Лейла сидела на стуле в коридоре, в пальто, и держала

сумку на коленях. Она ещё не ушла.

— Гриша, — сказал Тимур.

Я снял пальто. Под ним был костюм и галстук. Я снял галстук и положил в карман. Потом вспомнил, что в другом кармане, в пальто, лежит второй — тот, который я снял в октябре. Я не стирал его. Он был смят и пах табаком.

Теперь их было два.

— Где он? — спросил я.

Тимур показал на комнату.

Я вошёл. Рашид лежал на кровати. Его уже переодели в чистую рубашку. Одеяло было натянуто до груди. Лицо было спокойное, но не такое, как в кино. В кино у мёртвых лица умиротворённые. У Рашида лицо было усталое. Как у человека, который долго ехал и наконец остановился.

На стене висела жёлтая дорога. Кривая, нарисованная кистью. Три остановки. Депо. Рынок. Больница. Четвёртой не было.

Я стоял и смотрел. Я видел сотни мёртвых. Я знал, как выглядит человек через час, через сутки, через неделю. Я знал, что говорить родственникам и что не говорить. Я знал, что нельзя говорить «он сейчас выглядит лучше, чем при жизни», даже если это правда.

Но здесь я не знал, что делать с руками. Они лежали поверх одеяла. Большие, с толстыми пальцами и мозолями на ладонях. Руки водителя. Я подумал: эти руки держали руль сорок лет. Эти руки держали меня за руку в октябре.

— Я не сразу позвонил, — сказал Тимур за спиной. — Я сидел с ним.

— Правильно.

— Ты не сердишься?

— На что?

— Что поздно.

Я обернулся. Он стоял в дверях, в футболке, босиком. Ему было тридцать три, но сейчас он выглядел на восемнадцать. Так выглядят люди, у которых только что забрали родителей. Неважно, сколько им лет.

— Тимур, — сказал я. — Ты сделал всё правильно.

— Я ничего не сделал.

— Ты был рядом. Это всё.

Он кивнул. Потом подошёл к кровати. Потом сел на пол, у изголовья, и положил голову на матрас. Я стоял рядом.

В коридоре заплакала Гульнара. Тихо, чтобы не мешать. Оксана сказала ей что-то. Лейла встала и вышла на лестницу.

Я вышел следом. На площадке было холодно. Лейла стояла у окна и курила.

— Я работала с ним два месяца, — сказала она. — Он называл меня «сестра».

— Он всех называл сестрой.

— Нет. Только тех, кто ему помогал. — Она затянулась. — Он знал, что умрёт?

— Думаю, знал.

— Он не боялся.

— Откуда вы знаете?

— Он говорил: «Лейла, не суетись. Я уже доехал».

Я вернулся в квартиру. Тимур всё сидел на полу. Я присел рядом.

— Надо решать, — сказал я.

— Что решать?

— Где хоронить. Когда. Кого звать.

— Я не знаю.

— Я знаю. Но решать ты.

Он поднял голову.

— В Доме культуры можно?

— Можно попробовать.

— Он там был счастливый. — Тимур посмотрел на отца.

— Один раз. Когда смотрел спектакль. Он смеялся не в тех местах.

— Я помню.

— Он тебя называл Чебутыкиным.

— Я помню.

— Ты сможешь?

Я посмотрел на Рашида. На его руки. На жёлтую дорогу.

— Я его хоронил, — сказал я. — Он разрешил.

Тимур кивнул. Потом сказал:

— Только не в галстук.

— Я снял.

— Я вижу.

Он положил голову обратно на матрас. Я сидел рядом и

смотрел, как за окном идёт снег. В какой-то момент он заснул. Просто выключился, как выключается свет в доме, где не платили за электричество.

Я встал. Пошёл на кухню. Оксана грела чай. Гульнара сидела за столом и держала чашку двумя руками.

— Гриша, — сказала она. — Ты поешь.

— Потом.

— Сейчас. — Она пододвинула мне хлеб. — Он бы не одобрил, если бы ты голодал.

Я взял хлеб. Он был чёрствый. Я съел его весь.

— Я позвоню в бюро, — сказал я. — Найду машину. Оформлю документы. Похороны в пятницу.

— В пятницу, — повторила Гульнара. — Это через два дня.

— Да.

— Успеем?

— Успеем.

Она посмотрела на меня. Долго.

— Ты хороший мальчик, — сказала она.

— Мне тридцать пять.

— Это не важно.

Она встала и пошла в комнату. Я остался на кухне. Достал телефон. Написал Асе: «Рашид умер. Похороны в пятницу. Тимуру нужна помощь».

Она ответила через минуту: «Я приеду».

Я написал: «Не надо. Тебе далеко».

Она написала: «Я не тебе. Я Тимуру».

Я положил телефон. За окном светало. Снег шёл сильнее. На площади гасли фонари, и баннер про город, в котором хочется остаться, становился просто белым прямоугольником.

2. Без галстука

Утром я поехал в морг.

Ольшанский морг был в одноэтажном здании за больницей. На двери висела табличка «Патологоанатомическое отделение», а под ней — бумажка, приклеенная скотчем: «Стучать два раза. Второй раз — громче».

Я постучал два раза. Потом громче.

Открыла женщина в халате. Лет пятидесяти, с усталым лицом и причёской, которая держалась на честном слове и лаке.

— Здравствуйте, — сказал я. — Я из бюро «Последний путь». По Ахметову.

Она посмотрела на меня. Потом на мой костюм. Потом на галстук, которого не было.

— Вы Гриша?

— Да.

— Рашид говорил про вас. — Она открыла дверь шире. — Проходите.

В морге пахло формалином и холодом. Я знал этот запах. Он не вызывал у меня ничего. Это была моя работа. Я умел выключать нос так же, как другие выключают телефон.

— Документы есть? — спросила она.

— Есть. Свидетельство, паспорт, полис.

— Хорошо. — Она села за стол. — Причина смерти —

сердечная недостаточность. Врач написал. Печать есть. Забирать будете сегодня?

— Завтра. Нам нужно подготовить.

— Подготовите у нас или у вас?

— У вас.

Она кивнула. Потом посмотрела на меня.

— Вы его знали?

— Знал.

— Он был хороший.

— Да.

— Он мне однажды помог. — Она отложила ручку. — У меня муж умер три года назад. Рашид пришёл, сел вот на этот стул и сказал: «Не торопись». Я говорю: «Куда торопиться?» Он говорит: «Никуда. Просто не торопись». Я не поняла тогда. Теперь понимаю.

Я не сказал ничего. В моей работе есть правило: не перебивать. Люди сами рассказывают то, что им нужно рассказать.

— Забирайте в четверг, — сказала она. — К трём будет готов.

— Спасибо.

— Вам спасибо. — Она посмотрела на меня. — Вы всегда без галстука?

— Сегодня без.

— Хорошо. С галстуком было бы хуже.

Я вышел на улицу. Тимур ждал в машине. Он не поехал в

морг. Сказал, что не может. Я не стал уговаривать.

— Ну что? — спросил он.

— В четверг. В три.

— А потом?

— Потом в Дом культуры. Я договорился с Асей. Она поговорит с городом.

— А если не разрешат?

— Разрешат.

— Почему?

— Потому что мы поставим сто стульев и никому не скажем, что придёт триста.

Он посмотрел на меня.

— Ты врёшь.

— Я работаю.

— Это одно и то же.

— Нет, — сказал я. — Это разные вещи. В одной ты врёшь людям. В другой ты врёшь бумагам.

Он засмеялся. Впервые за сутки. Потом замолчал.

— Гриша.

— Что?

— Как его одеть?

— В чём он хотел?

— Он не говорил.

— Тогда в чём ты его помнишь?

Тимур подумал.

— В рубашке. В клетчатой. И в куртке. Он всегда носил

куртку, даже дома.

— Куртку нельзя. В гробу будет тесно.

— Он не любил тесно.

— Я знаю.

Мы поехали в магазин. Купили рубашку, брюки, носки и тапочки. Тимур хотел купить галстук. Я сказал:

— Не надо.

— Почему?

— Он просил.

— Он пошутил.

— Я знаю. Но я всё равно не надену.

Тимур посмотрел на галстуки. Потом сказал:

— Ладно.

Мы вернулись домой. В квартире было полно людей. Пришла соседка, пришла женщина из бухгалтерии автовокзала, пришёл мужчина с рынка, который знал Рашида сорок лет. Все говорили шёпотом. Все приносили еду. На столе стояли пироги, банки с вареньем, пакеты с печеньем. Кто-то принёс курицу. Кто-то — рыбу. Кто-то — бутылку водки, которую никто не открыл.

Гульнара принимала всех. Она была в чёрном платке. Она не плакала. Она говорила: «Спасибо. Проходите. Садитесь». Она была как хозяйка на поминках, которые ещё не начались.

Я пошёл в комнату. Рашида уже переложили на стол. Он лежал в рубашке, которую мы купили, и в брюках. Носки

были чёрные. Тапочки стояли рядом.

Я достал из сумки бритву, крем и полотенце. Побрил его. Это была самая простая часть работы. Потом умыл лицо. Причесал. Он всегда причёсывался набок. Я причесал набок.

Потом я посмотрел на его руки. Они были сложены на груди. Я разжал их. Вложил в правую руку маленький клубок? Нет. Не стал. Я не знал, во что он верил.

Тимур вошёл. Он держал сложенный лист бумаги.

— Что это? — спросил я.

— Расписание.

— Какое?

— Автобуса. Третий маршрут. — Он развернул лист. — Мне дала женщина на вокзале. В октябре. Когда он уходил. Сказала: «Пусть носит в кармане».

Я взял лист. Обычное расписание: депо, рынок, больница, обратно. Внизу — время последнего рейса.

— Положи ему в карман, — сказал я.

Тимур посмотрел на отца.

— Можно?

— Можно.

Он подошёл. Расстегнул пиджак? Пиджака не было. Он положил расписание в карман брюк. Потом поправил руку отца. Потом отступил.

— Он теперь доедет? — спросил он.

— Доедет.

— Куда?

— Куда надо.

Тимур кивнул. Потом сказал:

— Я не знаю, как жить дальше.

— Я тоже.

— Ты работаешь с этим каждый день.

— Я работаю с чужими отцами. Со своим — не умею.

Он посмотрел на меня. Потом сказал:

— Ты сильный.

— Нет.

— Ты не плачешь.

— Это не сила. Это привычка.

— Плохая?

— Удобная.

Он вышел. Я остался. В комнате было тихо. За окном шёл снег. Я стоял и смотрел на человека, который сказал мне: «Ты был работник. Теперь ты человек». Я хотел сказать ему что-то важное. Но он уже не мог меня перебить. Это было единственное преимущество мёртвых, и оно было не преимуществом.

Я наклонился и сказал:

— Я снял галстук.

Он не ответил.

— Вы были правы, — сказал я. — Я был работник. Я до сих пор работник. Но я стараюсь.

Я выпрямился. Поправил одеяло. Потом достал из кармана оба галстука и положил их на стул. Один был мятый, с

табаком. Другой — гладкий, чёрный.

Я не знал, зачем я их принёс. Может быть, чтобы доказать ему. Может быть, чтобы доказать себе.

3. Похороны

Шестого ноября в Ольше шёл снег.

Дом культуры «Строитель» стоял на площади, как старый корабль, который забыли вытащить на берег. Колонны, лепнина, три ступени. Над входом — выцветшая афиша «Три сестры. 2010». Её так и не сняли.

В фойе пахло пылью и цветами. Цветов было много: хризантемы, гвоздики, какие-то белые шары на длинных стеблях. Их приносили люди, которых я не знал. Они входили, снимали шапки, смотрели на сцену и говорили: «Здесь всё по-прежнему».

На сцене стоял гроб. Он был тёмный, полированный, с ручками. Я выбирал его вместе с Тимуром. Тимур сказал: «Самый простой». Я сказал: «Самый простой — это без ручек». Он сказал: «С ручками. Чтобы было за что держаться». Мы взяли с ручками.

Рядом с гробом стоял стол, накрытый чёрной тканью. На столе — фотография Рашида в фуражке. Он смотрел с неё так, будто собирался сказать: «Осторожно, двери закрываются».

Стульев было сто. Пришло триста.

Люди стояли в проходах, у стен, в дверях. Кто-то принёс раскладной стул. Кто-то сидел на подоконнике. В зале было холодно. Батареи шумели, но не грели. Люди не снимали

пальто.

Я стоял у сцены и смотрел на зал. Я знал этот зал пустым. Я знал его с пятью рядами. Я знал его с запахом пыли и мышинным помётом за кулисами. Теперь он был полон людей, и все они смотрели на меня.

Я достал лист. Я всегда выступаю с листом. Даже если знаю текст наизусть. Лист — это разрешение не смотреть в глаза.

«Рашид Ахметович Ахметов. Родился в тысяча девятьсот пятьдесят третьем году. Работал водителем автобуса. Сорок лет — третий маршрут».

Я посмотрел на зал. Потом сложил лист. Потом убрал его в карман.

— Я не буду читать, — сказал я. — Он бы сказал: «Не суетись».

В зале кто-то засмеялся. Потом замолчал.

— Я знал Рашида Ахметовича три месяца, — сказал я. — Это мало. Но иногда три месяца — это больше, чем сорок лет. Потому что иногда человек открывается не тем, кто рядом давно, а тем, кто пришёл поздно.

Я посмотрел на Тимура. Он сидел в первом ряду, между Гульнаррой и Оксаной. Он был в чёрном свитере. Без галстука.

— Он водил третий маршрут, — сказал я. — Депо. Рынок. Больница. Три остановки. Он знал, кто на какой выходит. Не по имени. По лицу. Он говорил: «Это не пассажиры. Это

люди».

В зале стало совсем тихо.

— Он говорил: «Осторожно, двери закрываются». Люди не слушали. Он всё равно говорил. Каждый раз. Сорок лет.

Я помолчал.

— Он был болен. Он забывал слова. Он забывал лица. Однажды он забыл, как зовут его сына. Но он помнил маршрут. Он помнил, что водитель должен объявлять остановки. Он помнил, что нельзя закрывать двери перед человеком, который ещё не вышел.

Я посмотрел на Тимура. У него дрожали плечи. Гульнара держала его за руку.

— Я работаю в похоронном бюро, — сказал я. — Я говорю на таких встречах каждый день. Я знаю, что нужно говорить. Я знаю, что нельзя говорить. Но сегодня я не знаю.

Я замолчал. В зале кто-то кашлял. Кто-то шмыгал носом. Кто-то смотрел в телефон.

— Он сказал мне одну вещь, — сказал я. — Он сказал: «Ты был работник. Теперь ты человек». Я не понял. Я работаю с мёртвыми. Я привык быть работником. Это удобно. Ты приходишь, делаешь, уходишь. Ты не привязываешься. Ты не плачешь. Ты не помнишь.

Я посмотрел на гроб.

— Рашид Ахметович, — сказал я. — Я помню.

В зале кто-то заплакал. Громко, не стесняясь. Это была женщина из бухгалтерии автовокзала. Она закрыла лицо ру-

ками, и её сумка упала на пол.

Я хотел сказать ещё что-то. Но Тимур встал. Он подошёл к сцене. Он посмотрел на отца. Потом на зал.

— Он разрешил Грише не надевать галстук, — сказал Тимур. — Гриша снял. А я надел. Потом снял. Потом опять надел. Потом опять снял. Он бы сказал: «Ты чего суетишься?»

Зал засмеялся. Тимур тоже. Потом он вытер лицо рукавом.

— Он говорил: «Нормально всё», — сказал Тимур. — Когда было не нормально. Когда было совсем не нормально. Он говорил это, чтобы я не боялся. Я говорил это, чтобы он не боялся. Мы оба ввали. Но это была хорошая ложь.

Он замолчал. Потом сказал:

— Нормально всё, пап.

Он вернулся на место. Гульнара встала. Она подошла к сцене. Она была маленькая, в чёрном платке, с прямой спиной. Она посмотрела на гроб. Потом запела.

Я не знал слов. Я не знал мелодии. Это была татарская песня, длинная, как дорога. Голос у Гульнары был не сильный, но точный. Она пела тихо. Зал слушал.

Когда она закончила, в зале было тихо. Потом заиграла музыка. Не орган. Просто запись на телефоне. Кто-то поставил её слишком громко, и она шипела.

Мы вынесли гроб. На улице было холодно. Снег шёл крупными хлопьями и ложился на крышку. Люди стояли вокруг и не расходились.

Катафалк стоял у входа. Рядом — старый автобус номер три. Тимур договорился с депо. Автобус был пустой. На лобовом стекле табличка: «В парк».

— Он поедет за нами, — сказал Тимур.

— Кто?

— Автобус.

— Зачем?

— Затем, что он водил его сорок лет.

Я не стал спорить. Мы поехали. Катафалк впереди, автобус сзади. Маршрут был тот же: депо, рынок, больница. На каждой остановке автобус останавливался. Двери открывались. Потом закрывались. Никто не входил. Никто не выходил.

На остановке у рынка стояла женщина с сумками. Она посмотрела на автобус. Потом перекрестилась. Потом заплакала.

На остановке у больницы стоял старик в пальто. Он снял шапку. Автобус постоял минуту и поехал дальше.

На кладбище было тихо. Могилу выкопали утром. Земля была мёрзлая, и рабочие грели её паяльной лампой. Над ямой стоял пар.

Мы опустили гроб. Тимур бросил горсть земли. Гульнара бросила. Оксана бросила. Потом все остальные. Земля стучала по крышке. Этот звук я знаю лучше всех звуков на свете. Он не громкий. Он последний.

Когда всё закончилось, Тимур подошёл ко мне.

— Он проехал все, — сказал он.

— Что?

— Маршрут. Все три остановки.

— Да.

— А четвёртой нет.

— Нет.

— Куда он теперь?

Я посмотрел на небо. Снег шёл и шёл. Он ложился на памятники, на деревья, на плечи людей.

— Не знаю, — сказал я. — Но он доехал.

Тимур кивнул. Потом сказал:

— Поехали. Поминки.

Поминки были в шаурмичной. Столы сдвинули, стулья принесли из Дома культуры. На столе стояли пироги, ку-
тья, блины, шаурма. Кто-то принёс самовар. Не тот, из Дома культуры. Обычный, электрический.

Люди ели и говорили. Говорили о Рашиде. Вспоминали, как он вёл автобус, как он ругался, как он пел. Кто-то сказал, что он был упрямый. Кто-то сказал, что он был добрый. Кто-то сказал, что он был и то и другое.

Я сидел в углу и ел шаурму. Она была горячая, с курицей, с соусом, с капустой. Тимур делал её сам. Впервые за три дня.

Он подошёл и сел рядом.

— Нормально? — спросил он.

— Нормально.

— Врёшь.

— Да.

Он кивнул. Потом сказал:

— Спасибо.

— За что?

— За то, что не сказал «он сейчас в лучшем мире».

— Я не знаю, есть ли лучший мир.

— Я тоже. — Он откусил шаурму. — Но я бы хотел, чтобы был. Не для него. Для меня. Чтобы было куда идти.

Я посмотрел на него. Потом сказал:

— У тебя есть куда идти.

— Куда?

— В Дом культуры. В пятницу — репетиция.

Он засмеялся. Потом заплакал. Потом засмеялся снова.

— Нормально всё, — сказал он.

В этот раз это значило не «я справляюсь». Это значило «я ещё здесь».

4. Завещание

Седьмого ноября мы сидели в кабинете Семёна Марковича Гринберга.

Кабинет был маленький, с высокими шкафами и запахом бумаги. На столе стояла чернильница. Настоящая, с пером. Гринберг говорил, что компьютер — это для скорости, а перо — для совести.

Мы сидели впятером: я, Марк, Настя, Тимур и Ася. Лиза была в Тбилиси, на экране ноутбука. Она сидела на балконе, в пледе, с котом на коленях. За её спиной были горы.

— Все на месте? — спросил Гринберг.

— Все, — сказал Марк.

— Хорошо. — Он открыл папку. — Начнём.

Он читал завещание медленно, как читают инструкцию к лекарству. Дом культуры «Строитель» переходит в собственность пятерых — Марка, Насти, Лизы, Тимура и меня — при условии, что до тридцатого декабря две тысячи двадцать шестого года они сыграют на его сцене спектакль. Если не сыграют — здание переходит городу. Город уже продал его застройщику.

— Это мы знаем, — сказал Марк. — Мы это знаем полтора года.

— Я обязан прочитать, — сказал Гринберг. — Формальность.

— Формальность — это когда всё уже решено, — сказал Марк.

— Нет, — сказал Гринберг. — Формальность — это когда всё ещё можно испортить.

Он перевернул страницу.

— До спектакля пятьдесят три дня. До сноса — шестьдесят девять.

— Мы считаем, — сказала Настя.

— Я тоже. — Гринберг посмотрел на неё. — Я считаю каждый день. Это моя работа.

Он закрыл папку. Потом посмотрел на нас по очереди.

— У вас есть вопросы?

— Есть, — сказал Тимур. — Кто будет платить за отопление?

— Город.

— А если не будет?

— Тогда вы.

— У нас нет денег.

— Это не юридический вопрос.

— А какой?

— Житейский.

Тимур посмотрел на меня. Я пожал плечами.

— Ещё вопросы? — спросил Гринберг.

— Что будет, если мы сыграем, а город всё равно снесёт? — спросила Лиза.

— Тогда вы сможете судиться.

— С кем?

— С городом.

— А если мы не будем судиться?

— Тогда вас снесут.

— Понятно.

— Ничего не понятно, — сказал Гринберг. — Но это честный ответ.

Он достал из ящика конверт. Плотный, серый, запечатанный сургучом. На конверте было написано: «Пятерым. После спектакля».

— Это что? — спросил Марк.

— Письмо Аркадия Борисовича. Он просил вскрыть после спектакля.

— Почему не сейчас?

— Потому что он так просил.

— А если мы не сыграем?

— Тогда я вскрыю его сам. И прочитаю на вашем месте.

— Это шантаж?

— Это завешание.

Гринберг положил конверт на стол. Потом подвинул его ко мне.

— Григорий, — сказал он. — Вы единственный, кто работает с документами. Возьмите.

Я взял конверт. Он был тяжёлый. На ощупь — как пачка денег. Я положил его в портфель.

— И ещё, — сказал Гринберг. — Я должен предупредить.

В завещании есть пункт, который я не имею права разглашать до определённого момента. Это не моя прихоть. Это условие Аркадия Борисовича.

— Что за пункт? — спросил Марк.

— Я не могу сказать.

— Он касается денег?

— Всё касается денег.

— Тогда скажите.

— Не могу.

Марк откинулся на стуле. Ася смотрела на Гринберга. Она не задавала вопросов. Она смотрела так, как смотрят на человека, которого подозревают в чём-то, но пока не знают, в чём.

— Семён Маркович, — сказала она. — Мой отец был театральным режиссёром. Он любил сюрпризы.

— Я знаю.

— Он любил их больше, чем людей.

— Это неправда.

— Правда. — Ася встала. — Но мы всё равно сыграем.

Она вышла. Марк посмотрел ей вслед. Потом сказал:

— Она всегда так уходит?

— Всегда, — сказал я.

— А ты?

— Что я?

— Ты всегда остаёшься?

Я не ответил.

Мы вышли на улицу. Шёл снег. На площади стояла ёлка, ещё не украшенная. Рядом с ней — баннер «Ольша — город, в котором хочется остаться». Я посмотрел на баннер. Потом на Дом культуры. Он стоял тёмный, с выбитыми окнами на третьем этаже. На крыше лежал снег.

— Пятьдесят три дня, — сказал Марк.

— Пятьдесят три, — сказала Настя.

— У меня ребёнок, — сказала Лиза из телефона.

— У меня двое, — сказала Настя.

— У меня шаурмичная, — сказал Тимур.

— У меня работа, — сказал я.

— У меня отец умер, — сказал Тимур.

Все замолчали.

— Прости, — сказал Марк.

— Ничего. — Тимур посмотрел на Дом культуры. — Он бы сказал: не суетись.

— Значит, не суетимся, — сказал я.

— А что делаем?

— Репетируем.

Мы разошлись. Я сел в машину. В портфеле лежал конверт. Я не стал его открывать. Я не хотел знать, что там. Я боялся, что там написано что-то, что изменит всё. Я боялся, что там не написано ничего.

Я поехал к матери. Она жила в двухэтажном доме на улице Механизаторов, в квартире с пианино и видом на котельную. Я не звонил. Я знал, что она дома.

Она открыла дверь. На ней был халат, а на голове — бигуди. В руке она держала ложку.

— Гриша?

— Привет, мам.

— Ты почему не позвонил?

— Забыл.

— Ты никогда не забываешь.

— Я устал.

Она посмотрела на меня. Потом отступила.

— Проходи. Есть будешь?

— Буду.

Я прошёл в кухню. На столе стояла кастрюля. В ней была картошка с мясом. Я сел и стал есть.

Мать села напротив. Она смотрела на меня. Она не спрашивала, как прошли похороны. Она знала. Она была на них. Она стояла в задних рядах, в чёрном пальто, и не подходила.

— Ты хорошо говорил, — сказала она.

— Спасибо.

— Он был хороший человек.

— Да.

— Ты его любил?

Я перестал жевать.

— Не знаю.

— Это честно.

— Это плохо.

— Это честно.

Она встала и налила мне чаю. Потом села обратно.

— Гриша.

— Что?

— Ты когда-нибудь думал, что ты живёшь не свою жизнь?

Я посмотрел на неё. Она была старая. Ей было семьдесят один. У неё были морщины у глаз и те же руки, что у меня. Она всю жизнь учила детей играть на пианино. Она знала всё о том, как правильно ставить пальцы. И ничего — о том, как жить.

— Думал, — сказал я.

— И что?

— Ничего. Думал и жил.

— Это разные вещи.

— Я знаю.

Она посмотрела на пианино. Оно стояло у стены, чёрное, с пожелтевшими клавишами. На нём лежали ноты. «Три сестры». Музыка к спектаклю. Она хранила её двадцать лет.

— Ты будешь играть Чебутыкина? — спросила она.

— Буду.

— Он хороший.

— Он пьёт.

— Все пьют.

— Он говорит, что через двести лет жизнь будет прекрасна.

— А ты не веришь?

— Не знаю.

— Правильно, — сказала она. — Если бы верил, было бы неинтересно.

Она встала и открыла пианино. Села. Положила руки на клавиши. И заиграла.

Это был вальс из «Трёх сестёр». Тот самый, под который мы танцевали в 2010-м. Я сидел на кухне, ел картошку и слушал. За окном шёл снег. На стене висела фотография отца. Он умер, когда мне было двенадцать. На фотографии ему было тридцать пять. Он был в рубашке с короткими рукавами и смотрел в камеру так, будто не хотел фотографироваться.

Я подумал: я старше его. Я живу дольше, чем он. Я уже на десять лет старше. А он всё ещё тридцать пять. И всегда будет.

Мать доиграла. Закрыла крышку. Посмотрела на меня.

— Гриша.

— Что?

— Ты плачешь?

— Нет.

— Врёшь.

— Да.

Она кивнула. Потом сказала:

— Ешь. Потом пойдёшь.

— Куда?

— В Дом культуры. Тебя там ждут.

— Откуда ты знаешь?

— Потому что тебя всегда там ждут.

Я доел картошку. Встал. Поцеловал её в щёку. Она пахла пирогом и старой пудрой.

— Мам.

— Что?

— Спасибо.

— За что?

— За музыку.

Она посмотрела на пианино. Потом на меня.

— Это не моя музыка, — сказала она. — Это его.

Я вышел на улицу. Снег шёл сильнее. Я сел в машину и поехал в Дом культуры. В портфеле лежал конверт. В кармане — два галстука. В голове — вальс.

Я не знал, что будет через пятьдесят три дня. Я знал только, что буду стоять на сцене. И что в зале будет пустое место.

5. Холод

Восьмого ноября мы вошли в Дом культуры как в дом, который простоял без хозяев пятнадцать лет.

На двери висело объявление, напечатанное на принтере: «Эксплуатация здания приостановлена. Основание: предписание от 06.11.2026». Ниже была подпись и печать.

— Это из-за похорон, — сказал Тимур.

— Это из-за трёхсот человек в зале на сто мест, — сказал я.

— То есть из-за меня.

— Из-за всех нас.

Я достал ключ. Гринберг дал его вместе с конвертом. Ключ был старый, длинный, с бородкой, как в фильмах про замки. Он вошёл в скважину с третьего раза. Дверь открылась с звуком, который я знал с детства: скрип, потом щелчок, потом тишина.

В фойе было темно. Пахло пылью, мокрым деревом и чем-то горелым. На полу лежал снег, нанесённый через разбитое окно. На стене висела афиша «Три сестры. 2010». Под ней — объявление: «Дорогие зрители! Спектакль состоится при любой погоде». Кто-то приписал маркером: «Кроме снега».

— Уютно, — сказал Марк.

Он приехал первым, из Москвы, с обогревателем в багажнике. Обогреватель был новый, белый, с колёсиками. Марк

выкатил его в фойе и включил. Он загудел, как трактор, и через минуту выбил пробки.

— Отлично, — сказал Марк в темноте.

— Это не отлично, — сказала Настя. — Это проводка.

Она приехала с аптечкой, термосом и сумкой, в которой лежали бинты, пластыри, антисептик и детские влажные салфетки. Она поставила сумку на пол и сказала:

— Кто-нибудь обязательно порежется.

— Почему? — спросил Тимур.

— Потому что вы мужчины с инструментами.

Тимур привёз шаурму, чайник и два ящика одноразовых стаканчиков. Он поставил их на стойку в фойе и сказал:

— Это не еда. Это топливо.

Лиза была на экране. Она сидела в Тбилиси, на балконе, в пледе. За её спиной шёл дождь.

— У вас снег, — сказала она. — У нас дождь.

— Хочешь поменяться? — спросил Марк.

— Нет.

Ася пришла последней. Она была в чёрном пальто, с папкой под мышкой. Она вошла, посмотрела на разбитое окно, на снег, на обогреватель, на нас.

— Так, — сказала она. — Кто выбил окно?

— Никто, — сказал Тимур. — Оно само.

— Окна сами не выбиваются.

— Это старое окно. Оно устало.

Ася посмотрела на него. Потом сказала:

— Ладно. Начнём с зала.

Мы пошли в зал. Он был холодный, как погреб. Батареи шумели, но не грели. На сцене стоял стол, накрытый чёрной тканью. Стулья были составлены в углу. На полу лежали обрывки мишуры, оставшейся с Нового года, который здесь отмечали в две тысячи девятнадцатом.

Я включил свет. Одна лампа на сцене загорелась. Она осветила самовар. Самовар стоял на столе, медный, с вмятиной на боку. Он был пустой.

— Он работает? — спросил Марк.

— Работает, — сказала Ася. — Тимур починил.

— Я только привёз, — сказал Тимур.

— Это и есть починил.

Ася подошла к сцене. Она провела рукой по краю. Потом посмотрела в зал.

— Здесь двести восемьдесят мест, — сказала она. — У нас двадцать семь.

— Где остальные? — спросил Марк.

— В подвале. Сломанные.

— А почему двадцать семь?

— Потому что двадцать семь — это то, что не успели сломать.

Она открыла папку. В ней лежал план зала, нарисованный от руки. На плане были отмечены сцена, выходы, гримёрки, склад.

— Нам нужно отопление, свет, звук, стулья и разрешение,

— сказала она. — Без разрешения спектакль запретят.

— А без отопления? — спросил Тимур.

— Без отопления мы умрём.

— Это шутка?

— Это прогноз.

В этот момент с потолка упал кусок штукатурки. Он упал между нами, на пол, и рассыпался в белую пыль. Все отскочили. Настя открыла аптечку.

— Кто-нибудь ранен? — спросила она.

— Никто.

— Я же говорила.

Мы посмотрели на потолок. Там было тёмное пятно, большое, как карта Африки. Из него капало.

— Это течь, — сказал Марк. — Ей лет десять.

— Пятнадцать, — сказал я. — Я помню её с спектакля.

— Ты помнишь течь?

— Я помню всё, что было в этом зале.

Марк посмотрел на меня. Потом сказал:

— Это не здорово.

— Это работа.

— Твоя работа — помнить?

— Моя работа — не забывать.

Мы поднялись на сцену. Доски скрипели. За кулисами было ещё холоднее. Там висели старые декорации: лес, комната, окно. На полу лежали костюмы. Кто-то сложил их в кучу и накрыл плёнкой. Плёнка была мокрая.

Ася развернула один костюм. Это было серое платье. То самое, из «Трёх сестёр». Она посмотрела на него. Потом повесила обратно.

— Нам нужно всё это разобрать, — сказала она. — Выбросить то, что сгнило, постирать то, что можно спасти.

— Кто будет стирать? — спросил Тимур.

— Ты.

— Я?

— Ты умеешь.

— Я умею резать мясо.

— Это то же самое. Только без крови.

Тимур засмеялся. Потом посмотрел на платье. Потом сказал:

— Ладно.

Я обошёл зал. Проверил выходы. Два были заперты, один открывался, но на нём висел замок. Я проверил лестницу. Перила шатались. Я проверил щиток. Пробки были старые, керамические, в трещинах. Я проверил пол. В одном месте доска проминалась.

— Что ты делаешь? — спросила Ася.

— Смотрю, где люди могут умереть.

— Ты всегда так смотришь?

— Всегда.

— И как?

— Пока нормально. Но если здесь соберутся триста человек, они умрут не от старости.

Ася подошла. Она встала рядом. От неё пахло духами и холодом.

— Гриша.

— Что?

— Ты можешь этим заняться?

— Чем?

— Всем. Ремонт. Разрешением. Сметой. Я не умею.

— Я тоже не умею.

— Но ты умеешь хоронить.

— Это другое.

— Это не другое. — Она посмотрела на меня. — Ты знаешь, что делать, когда всё плохо. Мне нужен человек, который знает, что делать, когда всё плохо.

Я посмотрел на зал. На потолок. На самовар. На двадцать семь стульев.

— Хорошо, — сказал я. — Я займусь.

— Спасибо.

— Не благодари. Я могу всё испортить.

— Можешь. Но сначала попробуй.

Она пошла к сцене. Я остался в проходе. В зале было холодно. Из рта шёл пар. Я подумал о том, что в этом зале я впервые поцеловал женщину, которую до сих пор не забыл. Потом подумал, что это не имеет отношения к ремонту.

Потом подумал, что имеет.

Мы вышли на улицу. На двери висело предписание. Марк сфотографировал его и отправил в чат. Телефон у Тимура

зазвонил. Он посмотрел на экран.

— Что? — спросил я.

— Ася пишет: «Кто-нибудь знает хорошего электрика?»»

— И что ты ответишь?

— Что знаю.

— Кого?

— Тебя.

— Я не электрик.

— Ты сказал, что займёшься.

Я посмотрел на Дом культуры. На его окна. На снег на крыше. На афишу, которую не сняли.

— Ладно, — сказал я. — Но если мы сгорим, хоронить будешь ты.

— Я не умею.

— Научишься.

6. Двадцать семь стульев

Стулья мы собирали неделю.

Сначала я думал, что это простая задача. Нужно двести восемьдесят стульев. В зале было двадцать семь. В подвале — сорок, из них двадцать сломанных. В кладовке — двенадцать складных, которые складывались сами, без предупреждения.

— Итого семьдесят девять, — сказал Марк. — Нам нужно ещё двести один.

— Двести один, — повторила Настя. — Это если все сядут.

— А если не все?

— Тогда меньше.

— Насколько меньше?

— На двести один.

Марк посмотрел на неё. Потом на меня.

— Она всегда такая?

— Всегда.

Мы написали объявление: «Дому культуры нужны стулья. Примем в дар или на время. Обращаться к Грише». Я повесил его на дверь. Через час позвонила женщина и сказала, что у неё есть два стула из гарнитура, но она не может их отдать, потому что на них сидит кот.

— Кот большой? — спросил я.

— Очень.

— Тогда не надо.

Через два часа позвонил мужчина и сказал, что у него есть двенадцать стульев из школы, которую закрыли в две тысячи пяти. Он хранил их в гараже. Мы приехали. Гараж был полон стульев. На них лежали газеты за две тысячи седьмой год. Мужчина сказал:

— Берите. Они уже никому не нужны.

Мы взяли. По дороге Марк прочитал газету. На первой странице было написано: «Ольша — город, в котором хочется остаться».

— Это судьба, — сказал он.

— Это макулатура, — сказал я.

— Это одно и то же.

Потом позвонил отец Павел. У него в церкви было двадцать стульев для прихожан. Он отдал их с условием, что мы вернём после спектакля.

— А если не вернём? — спросил Тимур.

— Тогда я буду молиться, чтобы вы вернули.

— Это шантаж?

— Это пастырская забота.

Потом пришли из шаурмичной. У Тимура было шесть стульев, три стола и большой зонт. Он привёз всё на своей машине. Зонт он поставил в фойе.

— Зачем зонт? — спросил Марк.

— Если потечёт крыша.

— А если не потечёт?

— Тогда будет зонт.

Потом приехали из бюро. Я взял двадцать складных стульев. Они были серые, металлические, с мягкими сиденьями. Мы используем их на кладбище, когда родственников больше, чем скамеек.

Марк посмотрел на них.

— Это стулья для покойников?

— Для родственников.

— А покойникам не нужны?

— Покойникам не нужны.

— Хорошо. — Он взял один. — А то я бы постеснялся.

Мы привезли стулья в Дом культуры. Поставили в ряд. Протёрли. На одном из них, в самом дальнем углу, была приклеена бумажка. На бумажке было написано от руки: «Штерн А. Б. Не занимать».

Ася стояла рядом.

— Это его стул, — сказала она.

— Я помню.

— Он сидел здесь на каждой репетиции. Говорил: «Я не режиссёр. Я зритель, который имеет право вмешиваться».

— Он вмешивался?

— Всегда.

Она взяла стул. Поставила его в центр первого ряда. Села. Посмотрела на сцену.

— Здесь, — сказала она. — Он сидел здесь.

Я сел рядом. Мы смотрели на пустую сцену. На ней стоял стол и самовар. Больше ничего.

— Гриша.

— Что?

— Ты помнишь, как он ставил второй акт?

— Помню.

— Что он говорил?

— Он говорил: «Не играйте несчастных. Играйте людей, которые хотят быть счастливыми».

Ася молчала. Потом сказала:

— Я забыла.

— Что?

— Всё забыла. Как он говорил. Как он смеялся. Как он злился. Я помню только последний год. Больницу. Запах. Его руки.

— Это нормально.

— Это не нормально. Он был режиссёр. Он научил меня всему. А я помню только, как он умирал.

Я посмотрел на неё. Она смотрела на сцену. В её глазах были слёзы. Она не вытирала их.

— Я помню, — сказал я.

— Что?

— Как он смеялся. Он смеялся не громко. Сначала выдыхал, потом смеялся. Как будто удивлялся, что ему смешно.

Ася закрыла глаза. Потом открыла.

— Да, — сказала она. — Так.

Мы сидели в пустом зале. На сцене горела одна лампа. Самовар блестел. За окном шёл снег.

— Гриша.

— Что?

— Ты когда-нибудь думал, что мы могли бы быть счастливы?

Я не ответил.

— Не сейчас, — сказала она. — Тогда. В десятом.

— Думал.

— И что?

— Ничего. Я думал, что у меня есть время.

Она кивнула. Потом встала.

— Ладно, — сказала она. — Стулья есть. Теперь нужен свет.

Она пошла к сцене. Я остался сидеть на стуле Штерна. Через минуту пришёл Тимур и сказал:

— Там ещё двадцать стульев привезли.

— Откуда?

— Из морга.

Я посмотрел на него.

— Я пошутил, — сказал он. — Из школы.

— Хорошо.

— А что, из морга нельзя?

— Можно. Но неудобно.

Он засмеялся и ушёл. Я сидел и смотрел на сцену. На ней ничего не происходило. Но мне казалось, что вот-вот кто-то

выйдет.

7. Читка

Двадцать второго ноября мы впервые читали пьесу целиком.

За столом сидели шестеро: я, Марк, Настя, Тимур, Ася и ноутбук, в котором была Лиза. Она приедет пятого декабря. Пока она читала Машу из Тбилиси.

В зале было холодно. Мы сидели в пальто. На столе стоял самовар. Он не кипел. Он просто стоял.

— Начнём с первого акта, — сказала Ася. — Без игры. Просто читаем.

Мы начали. Марк читал Андрея. Он читал его как презентацию: чётко, уверенно, с паузами в нужных местах.

— «В Москву! В Москву!»

— Стоп, — сказала Ася.

— Что?

— Ты говоришь это как «в Москву, в Москву, и мы выходим на новый рынок».

— А как надо?

— Как человек, который хочет уехать и знает, что не уедет.

— Это нечестно.

— Это Андрей.

Марк вздохнул. Перечитал. Получилось лучше. Потом опять хуже. Потом нормально.

Настя читала Ольгу. Она читала её как диагноз: спокойно, точно, с сочувствием, от которого хотелось закрыть окно.

— «В этом городе знать три языка — ненужная роскошь».

— Стоп, — сказала Ася.

— Что?

— Ты говоришь это как врач, который объясняет пациенту, что тот неизлечим.

— А как надо?

— Как женщина, которая всю жизнь мечтала уехать и осталась.

Настя помолчала. Потом перечитала. В её голосе появилась злость. Настоящая, не медицинская.

— Вот, — сказала Ася. — Теперь слышно.

Тимур читал Вершинина. Он читал его как водитель, который объявляет остановки.

— «Через двести лет жизнь будет прекрасна».

— Стоп.

— Что?

— Ты говоришь это как «следующая остановка — больница».

— А как надо?

— Как человек, который сам не верит, но хочет, чтобы поверили другие.

Тимур посмотрел на самовар. Потом перечитал. Тихо. Без интонации. Просто сказал. И это было лучше всего, что он сказал за вечер.

Лиза читала Машу. Она читала её с иронией. Ася остановила её.

— Ты говоришь это как переводчица, которая переводит чужую боль.

— А как надо?

— Как женщина, которая злится, что её боль не переводят.

Лиза засмеялась. Потом перечитала. В её голосе появилась усталость. Настоящая.

Потом дошло до меня. Я читал Чебутыкина. Я читал его как надгробную речь.

— «Тарарабумбия... сижу на тумбе я...»

— Стоп, — сказала Ася.

Я остановился.

— Гриша.

— Что?

— Ты только что произнёс это как «он был хорошим человеком и заботливым отцом».

— А как надо?

— Как человек, который пьёт, чтобы не помнить.

— Я не пью.

— Вот именно.

В зале стало тихо. Тимур смотрел в стол. Настя смотрела на меня. Марк смотрел на Асю. Лиза смотрела в экран.

— Я не понимаю, — сказал я.

— Чего?

— Чего ты хочешь.

— Я хочу, чтобы ты перестал хоронить Чебутыкина.

— Я не хороню.

— Хоронишь. Ты всех хоронишь. Ты даже меня похоронил. Ты смотришь на меня и думаешь: «Она переживёт». Ты не думаешь: «Она живёт».

Я положил лист. Потом взял обратно.

— Хорошо, — сказал я. — Давай ещё раз.

— Не надо ещё раз. Скажи своими словами.

— Что сказать?

— Что ты чувствуешь.

— Я не знаю.

— Тогда скажи, что не знаешь.

Я посмотрел на неё. На её лицо. На её руки. На её пальто, которое было ей велико.

— Я не знаю, — сказал я. — Я не знаю, что чувствую. Я знаю, что должен делать. Я знаю, кому звонить. Я знаю, где купить гроб. Я не знаю, что чувствую.

Ася смотрела на меня. Долго.

— Вот, — сказала она. — Теперь играй.

Мы читали ещё два часа. К концу все устали. Марк снял пальто. Настя сняла шарф. Тимур снял шапку. Лиза сказала, что у неё замёрз кот. Ася читала ремарки. Я читал Чебутыкина. И постепенно я перестал слышать свой голос. Я слышал голос человека, который боится.

Когда мы дошли до финала, Ася остановилась.

— Всё, — сказала она. — Хватит.

— Уже? — спросил Марк.

— Уже.

— А как же третий акт?

— Третий акт мы прочитали.

— Я не заметил.

— Это хорошо. Значит, ты был в пьесе.

Мы закрыли ноутбуки. Лиза попрощалась. Экран погас. Тимур ушёл за шаурмой. Настя пошла звонить няне. Марк остался сидеть.

Я собирал листы. Ася подошла.

— Гриша.

— Что?

— Ты знаешь, почему я злюсь?

— Нет.

— Потому что ты хороший.

— Это не причина.

— Это причина. — Она взяла лист из моей руки. — Ты хороший, и ты прячешься. За работой. За шутками. За чужими смертями. Я не могу тебя достать.

— А ты хочешь?

— Да.

— Зачем?

— Потому что я тоже прячусь.

Она положила лист на стол. Потом пошла к выходу. У двери обернулась.

— Завтра в шесть. Не опаздывай.

— Я никогда не опаздываю.

— Я знаю. — Она улыбнулась. — Поэтому ты и хороший.

Дверь закрылась. Я остался в зале. На столе лежали листы.

На сцене горела лампа. Самовар стоял и молчал.

Я подошёл к нему. Потронул. Он был холодный.

— Ничего, — сказал я. — Починим.

8. Смета

Смета была готова к концу ноября.

Крыша — сто восемьдесят тысяч. Электрика — девяносто. Отопление — сто двадцать. Полы — сорок. Стулья — тридцать. Туалеты — двадцать. Итого четыреста восемьдесят тысяч рублей.

У нас было шестьдесят две тысячи. Их собрали через чат «Шаурма-терапии» и через Ксению Полозову, которая написала пост «Городу нужен Дом».

— Четыреста восемнадцать тысяч не хватает, — сказал Марк.

— Ты уверен? — спросила Настя.

— Я маркетолог. Я умею считать.

— Я думала, ты умеешь врать.

— Это одно и то же.

Мы сидели в шаурмичной. За окном шёл снег. На столе лежали смета, ноутбук и три чашки чая. Тимур стоял за стойкой и резал мясо. Он не участвовал в разговоре. Он слушал.

— Можно сделать дешевле, — сказала Ася. — Не менять полы. Не менять туалеты.

— Тогда нас не пустят, — сказал я.

— Почему?

— Потому что туалеты — это первое, что проверяет инспектор. После пожарной безопасности.

— Откуда ты знаешь?

— Я работаю с помещениями.

— С какими?

— С теми, где люди прощаются.

Ася посмотрела на меня. Потом сказала:

— Ладно. Туалеты оставляем.

В дверь позвонили. Тимур вытер руки и открыл. На пороге стоял мужчина в пальто. Лет сорока, с лицом человека, который никогда не спешит и всегда успевает.

— Здравствуйте, — сказал он. — Артур Миронов. «СтройГарант».

Тимур посмотрел на него. Потом на нас. Потом сказал:

— У нас закрыто.

— Я на пять минут.

— У нас всё равно закрыто.

— Я по делу.

— У нас всё равно.

Артур улыбнулся. Улыбка была хорошая. Такая, с которой продают квартиры и предлагают мир.

— Тимур Рашидович, — сказал он. — Я знаю, что вы меня не любите. Я не прошу любить. Я прошу пять минут.

Тимур посмотрел на меня. Я кивнул.

Артур вошёл. Снял пальто. Повесил на стул. Сел за стол. Посмотрел на смету.

— Четыреста восемьдесят, — сказал он. — Это без вентиляции.

— Без, — сказал Марк.

— Вентиляцию придётся делать. Иначе не подпишут.

— Вы разбираетесь?

— Я десять лет строю. Я разбираюсь.

Он достал из портфеля папку. Положил на стол.

— Три миллиона, — сказал он. — За отказ от здания.

В шаурмичной стало тихо. Тимур перестал резать мясо.

Настя поставила чашку. Ася смотрела в окно.

— Это официальное предложение? — спросил Марк.

— Официальное.

— От кого?

— От города. Через агентство. Мы — инвестор.

— А почему город не может просто забрать?

— Потому что есть завещание. Пока вы не сыграли, здание ваше. Если сыграете — тоже ваше. Но город может не продлить землю.

— Это шантаж.

— Это бизнес.

Артур открыл папку. Внутри лежал договор. Тонкий, на четырёх листах.

— Три миллиона на пятерых, — сказал он. — Шестьсот тысяч каждому. Плюс расходы на переезд. Плюс мы забираем долги по коммунальным.

— А условие? — спросила Настя.

— Условие простое. Вы отказываетесь от права на здание. Публично. Говорите, что город предложил вам достойную

компенсацию, а вы решили не мешать развитию.

— И всё?

— И всё.

— А если мы не хотим?

— Тогда мы будем работать по закону. — Артур закрыл папку. — Снос пятнадцатого января. Спектакль — ваше право. Но после спектакля здание всё равно уйдёт городу.

— Почему вы не хотите ждать? — спросил я.

Артур посмотрел на меня.

— Потому что вы создаёте прецедент.

— Какой?

— Если один дом культуры можно отстоять, за ним начнут отстаивать другие. У нас в области девять объектов. Восемь уже согласились. Вы последние.

— И вы хотите, чтобы мы согласились до спектакля?

— Я хочу, чтобы вы согласились. До или после — неважно. Но до — дешевле.

— Для кого?

— Для всех.

Он встал. Надел пальто. Положил папку на стол.

— Прочитайте, — сказал он. — Там всё честно. Три миллиона, шестьсот каждому. Это больше, чем вы заработаете за пять лет.

— У нас не пять лет, — сказала Ася. — У нас пятьдесят дней.

Артур посмотрел на неё.

— Я знаю, — сказал он. — Поэтому и пришёл.

Он вышел. Дверь закрылась. В шаурмичной стало тихо.

Тимур вернулся к мясу. Нож стучал по доске. Настя смотрела на папку. Марк открыл договор. Ася встала.

— Я не буду это читать, — сказала она.

— Почему? — спросил Марк.

— Потому что я знаю, чем это закончится.

— Чем?

— Мы прочитаем. Потом посчитаем. Потом кто-нибудь скажет: «А что, если». И всё.

— Мы не скажем.

— Скажем. — Она надела пальто. — Всегда кто-нибудь говорит.

Она вышла. Марк посмотрел на договор. Потом на меня.

— Что думаешь?

— Думаю, что она права.

— Насчёт чего?

— Насчёт «что, если».

Марк закрыл папку.

— Шестьсот тысяч, — сказал он. — Это моя ипотека за год.

— Я знаю.

— Это не жадность.

— Я знаю.

— Это страх.

— Я знаю.

Он посмотрел на меня.

— А ты бы взял?

— Не знаю.

— Ты всегда не знаешь.

— Я знаю, что делать с мёртвыми. С живыми сложнее.

Он засмеялся. Потом убрал папку в портфель.

— Я прочитаю, — сказал он. — Но не подпишу.

— Хорошо.

— Ты мне веришь?

— Нет.

— Спасибо.

— Не за что. Я тоже не верю себе.

Вечером в чате было оживление.

Марк: Три миллиона. Шестьсот каждому.

Настя: Я посчитала. Это правда много.

Тимур: Это очень много.

Лиза: В Тбилиси на эти деньги можно купить дом.

Ася: В Тбилиси на эти деньги можно купить совесть.

Лиза: В Тбилиси совесть дороже.

Марк: Ася, мы не продаёмся. Мы просто обсуждаем.

Ася: Обсуждение — это первый взнос.

Гриша: У меня нет ипотеки. Мне легче.

Марк: У тебя нет ничего.

Гриша: Поэтому мне легче.

Настя: Гриша, ты бы взял?

Гриша: Я бы взял. И потом всю жизнь хоронил себя.

Тимур: Это ты сейчас пошутил?

Гриша: Нет.

Лиза: В Тбилиси говорят: «Деньги — это хороший слуга и плохой хозяин».

Марк: В Москве говорят: «Деньги — это деньги».

Ася: В Ольше говорят: «Не позорься».

Гриша: В Ольше говорят: «А что люди скажут?»

Настя: А что люди скажут?

Гриша: Люди скажут: «Нормально всё».

Марк: Это не ответ.

Гриша: Это мой ответ.

Я положил телефон. За окном шёл снег. На столе лежал договор. Я не открыл его. Я знал, что там написано. Там было написано: «Мы предлагаем вам будущее. Взамен вы отдаёте прошлое».

Я накрыл договор салфеткой. Потом пошёл спать. Во сне я хоронил дом. Он лежал в гробу, большой, с колоннами, и я говорил речь. В зале сидели люди. Они ели шаурму и говорили: «Нормально всё».

9. Выбери

Марк позвонил мне через два дня.

— Гриша, я в Москве. Приезжай.

— Зачем?

— Поговорить.

— О чём?

— Обо всём.

Я приехал в субботу. У Марка была квартира в ЖК «Ольховый парк»: светлая, с панорамными окнами, с видом на реку. В коридоре стояла коляска. На кухне сидела Галина Петровна и чистила картошку. Она посмотрела на меня.

— Гриша, — сказала она. — Ты похудел.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.